

**ЗИНАИДА  
ГИППИУС**

ТИХОЕ,  
СТРАШНОЕ

# Зинаида Николаевна Гиппиус

## Тихое. Страшное

### Аннотация

«Один из моих молодых друзей отличается странной спеленутостью, связанностью, – она его самого, видимо, тяготит. И хотел бы поговорить о себе, и не может. Я пытаюсь вытащить его из коробки (совсем точно в коробке!) и тогда применяю к нему систему наводящих вопросов. Что, например, он любит? Это очень открывает человека, только надо, конечно, разбивать вопрос на множество частных. Но с моим другом и это не вышло, или, впрочем, вышло, но неожиданно...»

# Зинаида Гиппиус

## Тихое. Страшное

Один из моих молодых приятелей отличается странной спеленутостью, связанностью, – она его самого, видимо, тяготит. И хотел бы поговорить о себе, и не может. Я пытаюсь вытащить его из коробки (совсем точно в коробке!) и тогда применяю к нему систему наводящих вопросов. Что, например, он любит? Это очень открывает человека, только надо, конечно, разбивать вопрос на множество частных. Но с моим приятелем и это не вышло, или, впрочем, вышло, но неожиданно.

На все окольные вопросы отвечал: «нет» и вдруг определенно заявил:

– Я ничего не люблю.

После этого мы замолчали. Что же дальше спрашивать? Надо подождать.

Но, к удивлению, он заговорил снова:

– У нас слово «любить» разное значит. Я, по-своему если, – правда, ничего не люблю. А если хотите – могу сказать, что я недавно любил старух.

– Как это, старух? Каких старух?

– Вот, вы уже не понимаете. А я любил. То есть опять не «любил», а другое: влекся к ним, потрясался, что ли, ими. Оне преследовали меня, – и я их преследовал.

– Да, не понимаю...

– Это надо выдумать такое слово, как французское *fascination*<sup>1</sup>. По-русски перевести – выйдет все не то. А затем надо знать, какие старухи на меня так действовали.

– Не все значит?

– Конечно, не все. Во-первых, моя старуха – незнакомая, я ее встречал на улице, обыкновенно. За ней-то и шел, остановиться не мог, преследовал. Старуха подтянутая, покрашенная, еще «не отказавшаяся», хотя уж с неуверенными глазами, – конечно, не моя старуха. Деловая, с корзинкой, с пакетами, с другой старухой, – тоже не моя. Не любил я и «бабушек», около детских колясочек, с дочкой, с нисходящим поколением, – опять не та.

– Какая же та, ваша?

– Я вам расскажу. Она – праздная, и непременно одна. Одета в черном или темном, не то, что оборвано, но бедно и как-то без «любви», без внимания, точно без сознания. А вместе с тем кажется, что ее одежда и есть она, а она – вот эта одежда. Юбка полудлинная, сбоку немножко висит, чулки черные и ужасно плоские башмаки, носами чуть вверх. Кофта какая-то, – редко пальто; на шейке бывает шерстяная косынка; шляпа тускленькая, приплюснутый бант, или без банта. Руки в черных нитяных перчатках, и на каждом пальце, на конце, камушек сваялся. Иногда в руках зонтик, рыжий, довольно большой и ридикюль. Старушка моя сухонь-

---

<sup>1</sup> обаяние (*фр.*).

кая и очень часто совсем маленькая. Горбится, но бывает и прямая. Она идет...

– А какое у нее лицо?

– Подождите, не перебивайте. Она идет медленно и... как бы сказать? идет – никуда. Это сейчас видно, что никуда. Может остановиться у витрины, долго стоять неподвижно и смотреть – все равно на что: на колбасу, на аптекарские принадлежности, на антикварную мебель, на гору булок, на чулки, на электрические лампы, на чемоданы, на челюсти, на бутылки с шампанским, на галстуки и рубашки, на образцы антрацита – ей все равно. Стоит тихо и смотрит, и подол у нее также висит, и ручками черными прижимает к себе тихо зонтик или ридикуль. Вы спросите, какое лицо. Такое, как она вся: отсутствующее. Посветлее ее всей, пожелтее, с глазами, может быть, видящими (видит же, идет же), а, может быть, и нет. И глаза «отсутствуют». Меня это отсутствие и тянуло, прямо втягивало. Оно – тишина. Понимаете, на улице шум, грохот, вскрики автомобилей, звонки, спешка... А моя царственная, отсутствующая старуха в тишине – как в облаке, стоит – или идет, неторопливо, одинаково, именно как идут – никуда. С таким лицом, с таким зонтиком нельзя не идти – никуда. И я за ней шел, не мог тоже не идти; в ее облако тихое старался попасть – и не попадал, хотя почти вплотную шел, у тех же витрин с нею останавливался, смотрел на аптекарские банки, на пустые перчатки в красильне, на чемоданы... Она двигалась – и я двигался. Потом или тем-

нело, и я, в огнях, сам не знаю, как терял ее, или она за угол заворачивала, и я тоже терял ее; но непременно терял, когда в меня уж начинала входить ее тихость, беззвучность, ее отсутствие. В тихом этом страшное, но упоительно-страшное, такое, которое влечет, справиться нельзя.

– Это были же разные старухи?

– Не знаю. Конечно, разные. Одна была в чепчике вместо шляпы. Волосы седые или с большой проседью. У одной очень мало волос. И руки без перчаток, цепкие. Но не в том же дело, что разные. В том дело, что одна, что она здесь, – и уже не здесь; а в тихом своем облаке. И даже нельзя сказать *уже* не здесь: если «уже» – значит время, а про время невозможно думать, когда видишь страшное облако. Тогда только «нет», только «отсутствие»... Впрочем, я напрасно... Я плохо рассказываю. И как рассказать. Ведь похоже – просто неврастенические бредни. Да я уж теперь и не люблю ее больше.

– Нет, постойте. Ну бредни неврастенические, это своим чередом. А как же вы ее разлюбили? Забыли? Постепенно?

– Сразу разлюбил. Опять будет никому непонятно, так что я в двух словах скажу, все равно. Шел раз по улице, широкой и нешумной, обсаженной деревьями, чуть-чуть в зеленом пуху. Было позднее, очень светлое, утро. И вдруг, навстречу – она! Прямо навстречу, прямо на меня.

– Она?

– Да. И плоские башмаки, и юбка, и шляпочка приплюс-

нутая, и ридикуль. Но только... она была такая – хорошенькая, именно хорошенькая, ну вот как бывает пятнадцатилетняя девочка «хорошенькая», но в ее лице и это «отсутствие» тоже было; ведь это – она. Но тогда, прежде, когда я ее в темном облаке встречал, – в облако, в него, все точно вбиралось (и я); а теперь само ее тихое облако из себя излучало и свет весенний, утренний, и все, что вокруг было. Она – была ужасно здесь, но и ужасно не здесь, и шла с этим на меня. Я даже не знаю, может быть, она улыбалась. А, может быть, сама была – вся, – как улыбка. Тут-то я ее и не захотел.

– Не захотели?

– Нет. Я испугался и возмутился. Так испугался, что прежний мой страх был ничто, но гораздо больше мне нравился, был мне больше по плечу. А этого – я не понимал, не желал выдерживать, потому и возмутился. Нечего ей, такой, мне навстречу идти, когда еще прежнюю не долюбил, не доследил, не добоялся ее. Но уж чувствовал, прежнюю я потерял-таки без возврата. И я, двух-трех шагов не дойдя до нее новой, – круто повернулся и пошел назад, быстро, скоро... Ни разу не оглянулся. Так моя любовь кончилась.

– Кончилась, однако?

– Именно как я предчувствовал, кончилась. В ней, в них, в старухах. Их я уже не встречаю. Или не вижу. То есть, вернее, я от них мою любовь отваял. Любовь-то осталась. Она ведь моя. Какая мне подходит, ну в мой рост, что ли, подходящая мне, или какая там. И я нашел... Я ее отдал...

– Господи! Кому еще? И что же это за любовь?

– Влечение. **Fascination**. Бредни неврастенические. Как хотите. Влечение к страшному – тихому.

– Где же вы его нашли? В ком?

– В кошках. Теперь люблю кошек. Вы усмехаетесь? Вам кажется это «банально»? Пусть банально, и что угодно, я ведь не для вас и ни для кого, – для себя люблю. Вижу мое страшное-тихое и влекусь. Позволяю себе. Впрочем, если бы и не позволил, ничего бы не вышло. В первый раз я увидел его, – страшное-тихое – в маленькой, черной кошке, когда проходил по широкой, пустынной улице, в сумерки. Было прохладно. Кошка сидела, подогнув передние лапки, тихим, черным комочком, на пороге входной двери, открытой. Вероятно, это была кошка консьержки. Я прошел близко и оглянулся. Черный, пушистый комок не двинулся ни шерстинкой. Но я увидел огромные, круглые бледные глаза из черного; живые – и отсутствующие. Я понял, что не знаю, где эта кошка, и что, вероятно, она сидит – нигде. Тогда меня и повлекло.

– Опять так же.

– Нет, не совсем. Ведь там – через человека, значит, ближе мне, человеку. Ухватывается, что ли, скорее. А тут немножко иначе. Тут я различаю, кошек, то есть персонально, все – разные, а там было главное в единстве, что всякая такая – она. Кошки же замечательно разделяются – по физиономии, по положению, по манерам; все субъективные, и очень много



зависит у каждой от ее биографии. Я знаю, например, кошку, которая ощущает себя «богатой»; я вижу, как она сидит иногда на стуле у входа в очень хороший отель, по воскресеньям: она явно и родилась в отличных условиях. А другая... Впрочем, это неинтересно. Суть не в том. Суть, вы знаете, в чем. Но меня поражает, – а ведь какие любители кошек есть, – что никто не заметил, прежде всего, их тихости. Все звери шумят, от человека до канарейки. Собака трясется, суетится, визжит, носом сопит, хвостом стучит... не правда ли? А кошка движется, точно в безвоздушном пространстве. От нее нет звука, мурлыканье – это сама подчеркнутая тишина, а мяуканье – разве не видали вы, – как она рот раскрывает, а звука нет? Кошка кричит только, когда уж смерть... или страсть, любовь, а это ведь одно и то же. Когда поймешь кошкину тихость, можно понять и ее отсутствие... чего, вот, вы и не понимаете.

– Я для себя, пожалуй, не понимаю... Но для вас...

Мы замолчали опять, и молчали долго оба. Дошли, может быть, и с этой стороны до какого-то предела, словам положенного. Откуда не иди, хоть от кошек, в эту стенку стукнешься.

Но приятель мой сделал какой-то, неизвестный мне, душевномысленный, круг и сказал:

– А я ее два раза во сне видел.

– Кого?

– Ее, ну вот, что утром, в последний раз, мне навстречу

шла. Глупый сон, и оба раза одинаковый.

– Сны все глупые, умные только выдуманные. Расскажите.

– А всего глупее рассказывать. Сон живет, и тогда до него дотронуться нельзя. Умрет – тогда рассказываешь не его, а воспоминание о нем, но он уже мертвый. Я могу, – в трех словах, но увидите сами – ничего нет. А было. Вот, будто та же улица, или вроде, и светло, и она так же идет навстречу. Во сне, вы знаете, далеко все видно так же, как вблизи, и я отлично различаю всякую ее черточку, и руки, и ридикюль, и лицо. И вдруг, будто вижу, что старушка моя хорошенькая уж вовсе и не старушка, а с каждым моим и ее шагом она все моложе, и вот сейчас вправду, в настоящую пятнадцатилетнюю девочку превратится... Замечательно, что я не удивился нисколько, но почему-то схватила меня тревога ужасная от соображения: если так пойдет, так раньше, чем мы встретимся, – она, она сделается совсем маленькой, маленькой, а может быть, и совсем успеет исчезнуть... От этого опасенья я заплакал, кинулся бежать ей навстречу. Ну, вы знаете, как во сне бегают, плачу, бегу и не двигаюсь...

– И что же потом?

– Ничего, конечно. Проснулся в слезах, и долго еще, наяву, плакал. Оба раза. Но слезы были ничего, не неприятные. Сонные слезы двух сортов бывают, как и сны двух сортов, большей частью. Один – «да», другие «нет». Независимо от содержания. По содержанию-то все – глупые.

– Это правда.

– Так вот этот мой сон – был сон «да». Второй раз я помнил, видя его, что он уж был, и когда плакал, проснувшись, но еще под сном, говорил себе: ну, в третий раз увижу – тогда уж добегу, уж во что бы то ни стало добегу, жить не буду, а добегу... Потом, утром, смеялся. И в третий раз не видал.

– А кошки вам не снятся?

– Нет, не снятся, – быстро проговорил мой приятель и встал.

– Простите меня, до свиданья. Простите всю эту чепуху, что я молол. Это редко со мной случается, – никогда. Это вам в наказание, – прибавил он, усмехнувшись. – Сами хотели выпытать, что я люблю. Ну вот я и стал... сочинять, насколько воображенья хватило. Я не Сологуб, не могу вам предложить более пышной «творимой легенды»...

– Бросьте кривляться. Не обижайтесь на себя, не ежьтесь. Да ведь я слушаю, а если хотите – забуду. Если хотите.

Он ушел. Знаю ли я теперь моего приятеля больше, чем прежде?

Не знаю, может быть, и знаю.